

ты – крупнейший инженер-практик, специалист по проектированию и расчетам прочности и устойчивости уникальных конструкций плавучих доков – должен снизойти до элементарных сопроматских истин, излагаемых перед примитивной студенческой аудиторией. И так каждый день. Из года в год – каждый день...

Он мог снизойти. Без оборотной стороны медали...

Я надолго запомнил оброненную им фразу об одном отчисленном за неуспеваемость студенте: "...Может быть, он раньше нас понял, что *средние* инженеры никому не нужны...". Мысль, более чем актуальная, в нашей повседневной действительности.

...Любой, кто мало-мальски сталкивался с сопроматом, хотя бы слышал о формуле Журавского – классической зависимости для определения величин касательных напряжений. В Водном институте эту формулу можно было легко запомнить по своеобразной расшифровке принятых буквенных обозначений:

$$T(\text{толкнешь}) = \frac{K(\text{Календарьяну}) \times C(\text{сопромат})}{B(\text{будешь}) \times И(\text{инженером})} \dots$$

Не в обиду любимому всеми Л.Х. Календарьяну, Булаху ничего не надо было "толкать" или делать "через себя". Сама обстановка "вокруг Булаха" заставляла, вернее сказать, настраивала на хотя бы любознательное отношение к этой дисциплине. А это уже немало!

Что до так называемых "*касательных напряжений*", то, как следует из приводимых ниже текстов воспоминаний, Глеба Дмитриевича *касалось* и *коснулось* многое... А *напряжений* и *перенапряжений* хватало бы на несколько жизней.

...Весьма трогательно было наблюдать, как из года в год Глеб Дмитриевич на "последнем звонке" дарил всем(!) девушкам духи. Гидротехники это хорошо помнят.

На лекции он мог внезапно вспомнить и процитировать "с выражением" отрывок из какого-нибудь замысловатого, "не затертого" стихотворения Лермонтова, Некрасова или Саши Черного. При этом Глеб Дмитриевич протирал очки, отрешенно смотрел как бы в сторону. Теперь я понимаю, что, очевидно, стихотворения эти возвращали его в какую-то конкретно пережитую жизненную ситуацию, к конкретным людям и поступкам. А жизнь загоняла его в угол не единожды...

Экзамены Глеб Дмитриевич принимал без особого ажиотажа. И это по сопромату! Обстановка была самая демократичная. Правда, перед ответом по билету Глеб Дмитриевич любил давать задачки с подвохом. Но при этом он не мог скрыть улыбки, которая тут же выдавала его благородные намерения.

Сочетание сопроматской строгости и инженерной смекалки с неизменной доброжелательностью. Вот таким запомнился наш Глеб Дмитриевич.

Может быть, это и была основная формула, выведенная всей предыдущей жизнью – жизнью человека своего времени. Не изменившего ни времени, ни себе.

Михаил ПОЙЗНЕР

Арест. Тюрма. Допросы*

19-го сентября около двенадцати часов ночи раздался звонок, кто-то из соседей открыл дверь и, постучавшись ко мне, испуганным голосом, сказал: "Глеб Дмитриевич, к вам пришли!". В комнату вошли трое вооруженных военных, скомандовали "Руки вверх!" и начали обыскивать меня. Убедившись, что у меня нет оружия, пересмотрели вещи и книги; не найдя ничего криминального, опечатали мою комнату, дали поцеловать сына Кирюшу, спавшего в соседней комнате, и увезли меня в ДПЗ на улицу Воинова, где я уже имел несчастье быть в 1922-м году.



Глеб Булах. 1930-е годы

После обыска в приемнике у меня отняли подтяжки и поясной ремень (чтобы я не повесился), отрезали пуговицы и, посадив в маленький чулан – "собачник", сказали, что утром будет допрос. Допрос проводил оперуполномоченный Паршин (по-видимому, кличка). После обычных анкетных вопросов последовало: "В чем вы признаетесь?" (вместо предъявления обвинения). Я отвечаю, что мне не в чем признаваться, на что Паршин говорит, что это обычный ответ преступника, но, как известно, НКВД зря людей не арестовывает. На этом допрос закончился, мне предложили подумать и отвели в общую камеру, где в громадной толпе заключенных я увидел человека в лохмотьях, с длинной седой бородой.

Это был М.М. Обольянинов, которого я всегда видел чисто выбритым, элегантно одетым. Он уже два с половиной месяца как был арестован, очень холодно мы с ним поздоровались, так как в то время я, не понимавший сути происходившего, считал, что он подло вел себя по отношению ко мне, когда в декабре 1937-го года поддакивал Коробову, обвинявшему меня в саботаже на верфи. Только значительно позже я понял, что тогда, в 1937-м году, Михаил Михайлович ничего не мог сделать, чтоб защитить меня. Осуждать его я не имел права. Встретившись теперь, мы обменялись ничего не значащими фразами о том о сем. Только между прочим М.М. Обольянинов промолвил: "Вот увидите, батенька, что здесь творит-

*Глава из книги "Херсон. Путь в неизведанное" – Киев: Карбон, 2004.

ся, но я не признал ни одного обвинения во вредительстве". Это была неправда. Через три или четыре месяца, знакомясь со всем нашим "делом", я прочел собственноручные "признания" М.М. Обольянинова во вредительстве, написанные им еще задолго до моего ареста. Разумеется, это были вымученные пытками "признания". Уже позднее я убедился, что почти все обвиняемые не выдерживают пыток и пишут самообвинения, но из чувства ложного стыда некоторые говорят своим товарищам по несчастью, будто бы на допросах они выдержали все и ни в чем не признались. Видимо, так же поступил и М.М. Обольянинов, но, не сказав мне, что именно он написал в "собственноручном признании", он обрек меня на ненужные страдания, которых я мог бы избежать, если бы знал, что уже было написано Обольяниновым.

На следующий день меня перевели в другую общую камеру, № 24, где я и провел почти год до августа 1939-го года. Я думаю, что меня отправили в камеру, где был Обольянинов, чтобы он рассказал мне все, что он уже написал, объяснил бы мне, что мне следует писать, чтобы не было разнобоя в показаниях, которого по правилам "следствия" не должно было быть, чтобы в "деле" не было бы явного брака. Это сильно упростило бы следователю Паршину его задачу выжимания из меня нужных показаний. А так как по тюремным правилам нельзя, чтобы в одной камере сидели двое по одному делу, поскольку они могут договориться, что именно нужно показывать, то, дав мне и Обольянинову время, чтоб обо всем договориться, Паршин сделал вид, что была допущена ошибка, и перевел меня в другую камеру, отделив от Обольянинова.

Какая ложь, какое лицемерие, что, впрочем, часто встречается всюду и везде! Попав в камеру № 24, как новичок я сразу же подвергся беглому опросу со стороны арестованных. Меня спросили о национальности, профессии и должности, а получив ответ, сразу безошибочно определили мне статью 58 пункты 7, 10, 11. Именно эти пункты и были всем нам инкриминированы, о чем я доподлинно узнал, уже когда по окончании так называемого "следствия" читал "дело".

Когда я поразился этой пронизательности, раздался хохот, а потом мне объяснили, по каким признакам стряпаются обвинения. Военным приписывается измена Родине (п. 1а). Инженерам с русской фамилией — вредительство (п. 7). Людям с иностранной фамилией — шпионаж (п. а, б). Старым партийцам и молодежи-студентам — террор (п. 8) и т. д. Все делается очень просто, объяснили мне, и я узнал о страданиях во время допросов. Одних держали на стойке по несколько суток, пока они не валились с отека-

шими ногами, других били линейками по шее и по пальцам, третьих топтали сапогами несколько человек сразу и т. д. и т. д. А когда наступила ночь, и последовала команда "ложиться спать и прекратить разговоры!", в камере затихло, а сквозь открытое окно откуда-то снизу стали доноситься стоны и вопли тех, кого в это время пытали на допросах.

Пять дней меня на допрос не вызывали. Так поступали со всеми вновь арестованными для того чтобы за эти дни они поняли, что выхода нет, что бессмысленно убеждать следователя в своей невинности и что меньше всего страданий будет, если согласиться признать себя виновным в том, что требуется следователю. При мне втащили после допроса инженера текстильной фабрики тов. Дубинина, обвиняемого в поджоге с целью совершить диверсию. Ни в чем не повинный крепкий здоровый мужчина пробовал отрицать свою вину. Его избивало несколько садистов. С опухшей шеей, выломанными пальцами его, потерявшего сознание, втащили в камеру солдаты. Мы долго приводили его в сознание. Поняв бесполезность сопротивления, через несколько дней, когда его снова вызвали на допрос, он сдался и подписал все, что требовалось следователю, обрекая себя тем самым на расстрел или на долгий срок лагерей. Один из арестованных, вернувшись с допроса, несколько недель мочился кровью. Его били сапогами по животу и по спине и, видно, повредили мочеполовые пути и органы.

После такой подготовки я был вызван на допрос. В ответ на мой отказ признать себя виновным во вредительстве и уверения в том, что на стройке доков удалось добиться высокого качества, Паршин объяснил мне, что так именно всегда и бывает у вредителей: для того чтобы замаскировать свои контрреволюционные замыслы, они создают впечатление, что у них работа идет очень хорошо. Я продолжал отрицать свою вину, и тогда Паршин приказал мне стать лицом к стене и обещал, что я буду стоять, пока не образумлюсь. Кроме того, он деловито объяснил, что для вразумления таких, как я, у него есть линейка, чтоб бить по шее. Далее он пояснил мне, что я не должен иметь каких-то иллюзий насчет того, что я могу выйти отсюда на свободу. А если я очень надоем своим упорством, то в подвале мне придется вытерпеть специальное наказание, иногда заканчивающееся смертью тут же.

Все это почему-то на меня не произвело впечатления, обычная моя нервозность и пессимизм исчезли. Я оступел и чисто машинально сопротивлялся, стоя у стенки, отрицая обвинение во вредительстве. Подошло обеденное время, и Паршин, закончив писать какие-то свои бумаги, отправил меня с цири́ком (часовым) в камеру, с тем чтобы, как только я

пообедаю, меня привели бы обратно. Пока я ел оставленный мне обед, мои товарищи по несчастью расспрашивали меня о допросе и давали практические советы, как вести себя, чтоб меньше мучиться. Но цирик скоро вернулся и отвел меня во флигель, где помещались кабинеты следователей. Паршин был занят, и меня поставили в один из шкафов, стоящих в коридоре. Шкаф был из тонкой фанеры, в рост человека, площадью примерно 60х60 сантиметров. Снаружи его можно было принять за шкаф для верхней одежды или для бумаг. Но в таких шкафах были люди, ожидающие допроса. В нем можно было только стоять, не прислоняясь к стенкам. Присесть было невозможно, а опереться на стенку можно было лишь с риском, что шкаф повалится, после чего были неизбежны зверские побои. Так я простоял много часов, а на следующее утро был вызван в кабинет Паршина.

Пока я был в шкафу, через щели видел, как вводят и выводят арестованных — в оборванной одежде, подвязанных вместо отобранного пояса полотенцем (чтоб не падали брюки), небритых и нечесаных. Видел я и арестованных женщин. До сих пор я не могу забыть то, что слышал тогда в первые сутки моих мучений. Из одного из следовательских кабинетов с двойными дубовыми дверьми начали доноситься все более и более громкие стоны и голоса, и наконец я смог разобрать женские крики: "Как вам не стыдно, что вы делаете! А, а, а! Что вы делаете! Мне больно, за что вы мучаете меня? Аа, ай, ай... Неужели у вас нет матери или сестры... ай, ай, ай... Ведь я годилась бы вам в матери! Хоть о своей матери вспомните! Бейте по лицу, по рукам, только не по груди, умоляю вас!". Невыносимо было слышать это, а каково было ей, этой несчастной, виновной, наверное, лишь в том, что ее муж или сын был арестован, подвергнут пыткам и осужден зловещим Особым совещанием. А может быть, она носила какую-нибудь иностранную фамилию, и это послужило причиной ареста.

За эти долгие часы в шкафу я понял, что в этом страшном застенке возможный единственный путь к спасению — это уступить озверевшим садистам и в чем-нибудь обвинить себя, чтоб уменьшить меру своих страданий, но при этом стараться перехитрить этих палачей. И когда меня снова вызвали к Паршину, я согласился писать так называемые "собственноручные показания". Во всеобщей атмосфере лжи, очевидно, для следователя считалось плюсом, что он "перевоспитал преступника" и убедил его раскаяться и обвинять самого себя. Трудно оценить и сравнивать с чем-либо всю бездну лицемерия, лжи, ханжества, которые были заложены в этой методике, общепринятой в те страшные времена.

Мне дали перо, бумагу и разрешили сесть за столик для обвиняемых. Мне уже необходимо было сесть, ибо за сутки стояния без сна я совершенно обессилел. Я не знал, что впереди еще трое суток без сна и без отдыха. Оупение мое прошло, и мозг лихорадочно работал. Наивно рассчитывая перехитрить следователя, я писал об обычных неполадках, бывающих на любой стройке, бывших и у нас. Я рассчитывал, и в этом сказалась моя наивность, что, преувеличивая значение имевшихся мелких недочетов, я дам следователю необходимый материал для обвинения меня в халатности, небрежности и в других неполитических преступлениях, от чего на суде я легко мог бы защититься. Но это была бесполезная попытка. Прочтя написанное мной, Паршин все разорвал, снова поставил меня на стойку и сказал, что от меня требуются не такие несерьезные самообвинения, а признания во вредительстве.

После нескольких часов стойки меня снова отвели в камеру на обед и сразу же вернули к Паршину. Я опять принялся писать про неполадки, сопровождая каждую фразу словами "из вредительских соображений...", но все написанное Паршин тотчас же по прочтении рвал и говорил, что все это не то, что нужно, что я не хочу чистосердечно признаваться. Я готов был написать на себя что угодно, но я никак не мог догадаться, что именно было нужно писать, и Паршин отправлял меня опять в проклятый шкаф, где я не мог даже вздремнуть и терзался душой, не понимая, что же я должен написать, чтоб избавиться от мучений. Если бы Оболянинов подсказал бы мне, что надо писать, от скольких мучений я бы избавился!

До сих пор не могу понять поведение следователей при таких допросах. Не сомневаюсь, что Паршину и ему подобным было ясно, что все дело липовое, как и все дела, которые велись в те времена. И все эти следователи не могли не понимать, что большинство допрашиваемых и рады были бы избавиться от мучений, но не знали, как и что надо писать, чтоб обвинить себя. Не легче ли и для арестованных, и для самого следователя было подсказывать, что именно надо написать? А вместо этого следователь делает вид, что он добивается искреннего признания, рвет все, что не подходит к намеченной схеме обвинения, зря мучит арестованного и тратит свое собственное время, и, я думаю, и нервы. Каким бы извергом ни был следователь, все то, что он делал в пыточных камерах, не могло проходить бесследно для его нервов и психики. Единственное объяснение я нахожу в том, что следователи сами боялись. Боялись, что кто-нибудь донесет, что идет подкачка, официально не допускаемая, что это будет поводом для создания дела против самого следователя. Страх, страх, повсю-

ду страх! Под страхом живут допрашиваемые, под страхом живут и те, кто сеет страх среди допрашиваемых.

Уже кончались третьи сутки моего допроса без сна и без отдыха, а я никак не мог догадаться, что же я должен писать. К слову "вредительство" я уже привык и не боялся в своих "показаниях" писать это слово в каждой строчке. Но все было не то, что нужно, и все, что я писал, Паршин рвал. Наконец Паршин, видя мою готовность написать то, что ему требовалось, и вместе с тем, видя мою безнадежную бестолковость, пояснил мне, что я должен написать, кто и в какую организацию и при каких обстоятельствах (дома или в ресторане и т. п.) меня завербовал и кто завербован мною. Это меня очень испугало, так как термин "вербовка" я читал в жутких брошюрах, выпускавшихся в последнее время ("О методах работы иностранных разведок"). Вербовали и сами были завербованы расстрелянные Ягода, Бухарин, Лифшиц и др. Но делать было нечего, надо было что-нибудь написать, чтобы меня отпустили и дали бы заснуть.

Тот, кто не пережил пытки лишением сна и стоянием на ногах, не может представить себе, как это мучительно. После трех суток пытки все тело у меня ломило, каждый нерв ныл, и я был готов на все, даже на смертный приговор, лишь бы избавиться от этого мучительного состояния. Подумав немного, я написал, что меня, пригласив к себе домой, завербовал Обольянинов как мой прямой начальник, и что я завербовал своего помощника на стройке инженера Пашкова на пароходе Одесса-Херсон. Оба уже больше двух месяцев как были арестованы, и мои показания не могли им повредить.

Это вполне удовлетворило Паршина, но когда я написал, что наша организация была монархической, Паршин обругал меня и порвал все написанное. По простоте душевной я решил, что поскольку и Обольянинов, и я дворяне (за что уже все прошлые годы было немало притеснений), для нас самой подходящей организацией должна быть только монархическая. Но, оказывается, это не подходило. У меня уже не было больше сил, и я решил, что пусть они меня убивают, но только бы сейчас меня отпустили, чтоб я мог в камере броситься на пол и заснуть. И я написал заново все басни о вредительстве и закончил тем, что мы были в троцкистской организации. Страшнее этого я ничего не знал, так как из газет вычитал, что самые страшные враги народа — это Троцкий и его сын Седов. Когда Паршин все это прочел, с ним чуть не сделалось дурно. Он засунул меня в шкаф, а сам куда-то убежал.

Вскоре он вызвал меня из шкафа. Вместе с ним в кабинете был началь-

ник отделения Иванов. Тот объявил мне, что я солгал, что принадлежу к троцкистской организации. А я, ничего не понимая, не сознавался в том, что я лгу. Тогда, задыхаясь от злости, Иванов заорал: "Ты думаешь нас околпачить и выставить нас ротоземьями! Да разве при нашей бдительности мог бы Троцкий иметь теперь здесь свою организацию? Все троцкисты уже ликвидированы. Пиши правду!". И с этими словами он разорвал все написанное мною.

Что делать? Опять писать десятки страниц и опять написать что-нибудь, что не подходит! И я, прежде чем садиться писать все сначала, закинул удочку, чтоб знать, подойдет ли то, что мне пришло в голову. Недавно в газетах я прочел о ликвидации органами НКВД какого-то право-левого блока Сырцова-Ломинадзе, и я заикнулся о принадлежности к этому блоку. Но сразу же услышал букет ругательств. Тогда из последних сил я выжал из себя еще один вариант — мы были в организации без названия при Наркоме водного транспорта Пахомове, ныне арестованном. Посоветовавшись между собой, Иванов и Паршин решили, что это подойдет, и что я могу написать о причастности к организации, возглавляемой Пахомовым.

Я написал снова все показания и думал, что меня наконец отпустят. Уже кончались четвертые сутки без сна, но меня не отпустили. Вошел в кабинет начальник отдела с тремя кубиками в петлицах, сел на стол и, покачивая ногами, сказал, что я написал не всю правду. "Где же признания, что ты был шпион?".

— Какой еще шпион? — спросил я, еще ничего не понимая.

— А такой, что раз ты вредитель, то должен быть и шпионом, — разъяснил Александров (начальник с тремя кубиками).

Самым позорным и ужасным, по моим взглядам, было предательство моей Родины, моей России, и за шпионаж, без сожаления, я сам расстреливал бы шпионов. И я, не выдержав, вскочил и закричал: "Что хотите, делайте со мной! Я написал всю липу, которая вам требовалась, но шпионом я не был и такой мерзости про себя не напишу. Убивайте меня, но этого от меня не дождетесь!". Видимо, у меня был такой решительный вид, что Александров примирительно, спокойно объяснил мне, что будто бы вредительство всегда сопровождается чем-нибудь иным — "шпионажем, террором или хотя бы диверсиями", и что-нибудь из этого должно было быть и у меня. И я должен написать об этом в собственноручном показании.

Признать себя террористом, как мне казалось, — это верная смерть. И я выбрал менее страшное, как мне думалось. Я заявил, что напишу, что

Слова, слова, слова...

В анкетах и личных листках по учету кадров есть графа "какими иностранными языками владеете". Это очень характерно: математику, биологию, историю мы изучаем, языком — овладеваем. Овладеть — значит стать обладателем, подчинить себе. Трудно отделаться от ощущения насильственности этого процесса. Научившись в детстве говорить и писать, мы считаем, что родной язык находится в нашем полном подчинении. Но так ли это? Языки слово живут своей жизнью, куда более долгой, чем наша. Они обладают собственным умом и собственной волей. Раб Эзоп нередко делал своего хозяина предметом насмешек. Так и наше слово, которое мы считаем своей безраздельной собственностью, способно сделать явной нашу глупость, разоблачить нашу ложь, обнаружить наши истинные намерения. И это наше *собственное* слово. Что уже говорить о чужом, которое так и норовит подчинить нас чьей-то воле: заставить поверить в святость того или иного политика, благотворность той или иной акции власти, преимущество того или иного товара! Позднее выяснится, что политик был прохиндеем, акция — надувательством, товар — суррогатом, но дело сделано: мы уже избрали, одобрили, купили.

Сегодня мы привычно сетуем на упадок словесной культуры — на косноязычие газет и телевидения, на засилье матерщины в бытовой речи, на отсутствие у детей интереса к чтению... Но с другой стороны, именно сегодня родились прикладная лингвистика, паблик рилейшнс, имиджелогия и ряд других наук, изучающих неограниченные возможности слова влиять на наше сознание и поведение. Если так, то кто кем владеет — мы словом или слово нами? Не будем спешить с ответом. Давайте пока посмотримся к словам, среди которых живем.

Названия, которые мы выбираем

Как известно, самое трудное для человека — выбирать. Язык во многом облегчает наши муки: мы при всем желании не назовем стол домом, а дом — деревом. Однако в языке есть не только имена нарицательные, но и собственные — имена людей, клички животных, названия морей и далеких звезд, океанских и космических кораблей, городов и улиц, магазинов и учреждений... Их дают сами люди. В советскую эпоху возможности выбора имен собственных, особенно названий, были весьма скромными.

пытался совершить диверсию. Прежде чем дать мне дописать насчет диверсии, Александров спросил, что именно за диверсию я пытался совершить. Я мгновенно придумал, что хотел затопить котлован, где строились доки, и тем самым уничтожить их. Это мне пришло в голову, потому что весной 1937-го года в Херсоне было сильное наводнение, и нам поистине героическими усилиями удалось спасти котлован от затопления. Впрочем, если бы котлован даже был бы затоплен, то для дока не было бы ничего опасного, кроме задержки в ходе строительства. Но Александрову эта чепуха понравилась, и он хотел только уточнить, каким путем я затоплю котлован. Я ответил первое, что пришло на ум, что намерен был взорвать шпунтовую перемычку, отделяющую котлован от Днепра. Александров этот вариант отверг, так как бдительность НКВД не допустила бы меня к взрывчатке. Тогда я придумал еще более нелепый вариант — ночью, когда ночной сторож уйдет с перемычки в обход, я намеревался незаметно подбежать к перемычке и вытащить одну из шпунтовых свай. Вода, хлынувшая в эту брешь, мгновенно разрушила бы перемычку, затопила бы котлован и строившийся док. Этот вздор был санкционирован, и я приписал к моим "показаниям" и эту чепуху, после чего был отпущен в камеру. Самое страшное во всем этом было то, что и следователи, и Александров делали вид, что они не знают, что все от начала до конца — сплошная ложь, и то, что я тоже делал вид, что не лгу, а говорю серьезно, как будто делаю какое-то дело, предлагая разные варианты описания того, что не было и чего не могло быть.

Придя в камеру, я свалился на свое место под нарами, но долго не мог прийти в себя и заснуть. Через два или три дня я снова был вызван к Паршину. Мне дали подписать протокол допроса, написанный якобы с моих слов, содержащий в себе всю чепуху, написанную в моих "собственноручных показаниях", приложенных к протоколу. После этого я получил разрешение на получение передач с воли и на получение книг из тюремной библиотеки. Теперь я стал таким же, как большинство новых соседей по камере. Сестра делала мне денежные переводы, благодаря которым я мог выписывать из тюремной лавки папиросы, сахар, конфеты "Чио-Чио-Сан" (других не было), колбасу, масло, лук, чеснок и сырые яйца. Яйца, лук и чеснок спасали от цинги, а остальные продукты существенно улучшали тюремную пищу — баланду (суп) и каши.